

ОТРАЖЕНИЯ

ОТВЕРЖДЕНИЯ.

Года полтора тому назад я писал: «советосвергательство не в советодательстве, но в утверждении конкретной вещиности жизни» («Дни»). Но конкретизация есть отверждение (или даже отвержение) — да будет твердь — хаоса. Пока утверждения не отвердились в свершения — дух все еще витает над бездной и даже еще неизвестно дух ли он? И чем он, собственно, разнится от духа отрицанья, духа сомненья? Толщете словесную воду в ступе и отвердится — исповедуют иные. Напротив, я считаю, что пора неких сгущений безплотностей давно пришла (если еще она не безнадежно — в смысле невозвратимости — прошла...). Компрометирующие оцепенения духа уже наводят на подозрения — не отлетел ли он? Если нет, пора сознанию проникать в бытие, затвердевая в вещные формы. Итак: не отрицания, не утверждения, но проницания и отверждения, т. е. творческая кинетика. Без нее нет этики. Долой «долой», да воссияют «за»; но не забудем, что и вычитание и сложение суть прежде всего действия и что именно в **чуждоности** лакмусовая бумажка духа, восходящего утверждениями по ступеням отрицаний; если «да» кивают на небо, то и качания «нет» расширяют земной горизонт... Отсюда даже минус я предпочту нулю: отвращенность — уже некая обращенность. Увы, даже социально-творческая греховность лучше святого паралича... И раз **зача** исполинская замешкалась, не так уж плохо, пока что, вершить хоть малые дела, нанизывая не только на перо, кривду всюду, где бы она — географически — не повстречалась.

НЕВИДИМКИ СЛОВ.

Слова, как звезды, меркнут, гаснут, разлетаются в прах в апокалипсических катастрофах и в них же вспыхивают новым огнем... Но если заблудились мы среди слов увядших, слов

— оболочек с давно истлевшими сердцевинами — не пора ли реставрировать их смысл? Обрести снова то, откуда всякое общество стало есть и чем оно живет: общий язык. Но человечество не только раздробилось на языки. И в пределах того же языка, в сущности, ряд непримиримых психологических диалектов. Сытые, голодные, алчные, жалостливые, здешние, потусторонние — как понять им друг друга без переводчика? Как договориться о хотя бы насущнейших словах — праве, правде, чести, справедливости? О ней в особенности; анестезирующая магия этого слова такова, что становится рычагом, с которым можно перевернуть современность. На червячка справедливости не только ловится мелкая революционная рыбешка, но под ее, справедливости, наркозом, можно и у целого народа вырвать зубы мудрости — буде таковые имеются... Социальная боль (а всякая боль есть донесение о частичной смерти), плюс идея (даже ложная) неизмеримо чудотворнее, чем просто боль — на этом берегу — безнадежная и стало быть, сугубо-бессмысленная... В белых — и уже бывших — «идеях» это пробел витальный и фатальный; они биты — а бито всегда угасание жизни — верой, в самой себе черпающей силу; а нужно ли силе оправдание? Творческий эффект — судья мотивов. Но в справедливости — реванш идеи: понятие меры, пропорций — математическая сверх-идея, из паутины которой соткан мир. Ибо «из невидимого произошло видимое». Нужно отвердить растаявшее слово; оно снова будет в начале.

НА ВЕСАХ РЕАЛЬНОСТЕЙ.

Косой луч утреннего солнца, проникший сквозь ставню, освещает миллионы взвешенных в воздухе пылинок. Плавая в нем, они горят, шевелятся и мерцают, как звездные миры, заставляя то, что за ними, возникая, за границами луча, из ничего и уходя в ничто. Вне луча, там где кончается узрение этой сверкающей пыли, начинается ясность: снова видны реальности стен и предметов. Прозрачность куплена ценою какой то слепоты. Есть мера прозрения, перейти которую практически нелепо и в социальной жизни. Здесь нужно видеть много и зорко; и однако же где то остановиться... Быть может именно эту черту и перешли большевики. Увидеть тайну — значит снова ослепнуть

от ее смертоносных лучей. «Que nous veulent les lois du juste et de l'injuste?» (Бодлэр). Задуматься о божественной несправедливости — значит понять божественную всеблагодать, милующую и бактерию и могильного червя. «Кто может сказать: ты поступаешь несправедливо? Вседержитель! Мы не постигаем Его. Он велик силою, судом и полнотою правосудия». Он никого «не угнетает», «ловя добычу львице и насыщая молодых львов», «давая ворону корм, когда птенцы его кричат к Богу». По ту сторону — нет зла, а только процесс, в котором всегда второй радующийся, с неизменною онтологического сальдо. Есть глубины здесь воистину непостижимые. Невообразимые расстояния — невообразимая справедливость... Но неравенство сил в ней нивелируется равенством прав на взаимопожирание. Все равны в смерти, но равны и в праве отстаивать свой пай неравного цветения в кроваво-круговой поруке жизни. Do, ut des — и все живы. Разорвется эта цепь отказом (дух отрицания!) от захвата или защиты (моего, которое всегда двулико чьим то злом) — и все мертвы. Ибо вымирание поедаемых есть смерть и поедающих. Разве не съедает человек за свою жизнь целое зоологическое кладбище? Но раз оправдано поедание, оправдана и боль и насилие. Толстой так и понял — гностически — христианство, как узрение в иллюзии зла божественной воли (велик Аллах!), как самоубийственную жалость. Этот декаданс мощи—Святого Крепкого—непротивляющейся, и поднял Ницше на утверждение чуждого им неохристианства будущего. Непостижимость — основное качество Божие; постижение уже развенчивает Его. Затыкание же тайны Дьяволом, ничего кроме дурной безконечности и расщепляющего сознания дуализма, не вносит. Но прорыв в эту четырехмерную зону смертелен. «Премудрость не обретается на земле живых» (Иов). «Мудр лишь постигший то темное, тайное, что тихо и безвозвратно отрывает его от всего мира». (Гете). На умирании нельзя построить примата жизни. Признать, быть может и соблазнительное философски, право смерти, значит отнять у права и справедливости самую их душу. Ибо если человек и перерос антропоморфного Бога, ему никогда не перерастит антропоморфной справедливости. А она не хочет знать, что жизнь спасается вредительством, чтоб не превратиться в бедствие; что конкуренция со смертью

— создают динамическое равновесие в мире; что не будь смерти, мириады икринок одной трески заполнили бы в несколько поколений все мировое пространство, до отдаленных звезд; что сама жизнь — некое количество тонн, с шестнадцатью нулями, плазмы — свершает таинственную миссию образования земной коры, разрыхления в почву горных пород (даже самые твердые границы не могут противостоять жизни), образуя исполинские могилы «органогенных» гор и материков; что — слава те Господи... — каждые 30 лет умирает все наличное население земли, два миллиарда; что в огромных числах растворяется без остатка личность, как тающая пушинка снега в несущейся в вечность метели... Морально - ледниковый период, надвигающийся на мир, этический нудизм, пытающийся загореть на ином, трансцендентном, солнце и есть срыв в дочеловеческую звериную этику. Будем, как стадо — просто, как мычание.

О ДУХЕ НИЩИХ.

Известно, что собаки не выносят нищих, обло и озорно на них лая. Не несут ли нищие («духом» — классовая отсебятина переводчиков) с собой ауры страдания, духа небытия, темных лучей неблагополучия? Ведь нищий — поссорившийся с вещами, отвергнутый ими, отжатый в стихию безвещности, в неделимую общность воздуха и пространства. Сшедшему с вещетворческого ума нужен уже — лошатывающемуся в этом мире — посох, да эта нищая сума... За них, за этот поплавок «своего» и цепляется нищий в океане «чужого». Но чужое — всегда чуждое. Его завистливо желают, но никогда не жалеют. Блаженно-юродивые психические токи, сливаясь в облако удушья, нависают над всеми одурманивающе-угнетающей пеленой. Ядовитые газы миллиарда жизней (т. е. половины населения земли), не участвующих в потреблении товарных благ, вычеркнутых из целей производственного процесса, взорвут какнибудь нашу уединившуюся культуру. «Никто же да рыдает убожества, явився бо общее царство». За что? Бог (персидское бага, санскритское бхага) всегда богатство, т. е. божественность творческой мощи, полномочие от бога; творчески-убогий только числится у бога в ревизских мертвых душах: не в родстве, а в рабстве... Эту тайну справедливости ревниво охраняют не

жрецы, а нищие. «Обезьянам», говорит обезьянолог проф. Келлер, «нужны две вещи: развлечения и иллюзия свободы»... И — логики — человекообразным. «Все ваше; ваше значит общее; общее значит наше, вашего мозга, ваших вождей». И вот «освинение мечты» в свальный грех собственности: — коммуно-капитализм — «общее — значит ничье».

ТРАЕКТОРИЯ, ЦЕЛЮЩАЯ В НЕБО.

В опыте с разрезанным червем не только голова отрицывает хвост, но и хвост — голову. Безмозглое создает «мозглое». Мозг создается невидимым сверх-мозгом. Эта тайна гениально целесообразна, т. е. предвидяща; ее то и зовут символическим знаком, начертание букв которого безразлично. Полнолуние сознания, освобождение экрана, регенерация мозга гильотинированного Адама, погруженного в тьму — задача органически творческая. Творчество мозга, в котором сгущена вся история человечества, который есть мир существ-клеток — творится борьбой неравенств-понятий и браком их, рождающим идеи. Цветы познания и рождаются на бороздах мозга: мы пахари этих целин. На них я расцветает в Я. Обезьяны не без изъяна: они без я; и все обезьяненные суть обезглавленные. Эволюция и есть обретение своего я («я снова я»); радость творчества и есть радость эволюции, претворения хама в homo: чело (лик, а не морду) веков (эонов, времени). Этим ликом мы придаем мысль ликующей в нас вечности. Но, эти «хомо» все еще, как марсиане, блуждающие среди селенитов... Как часто хочется воскликнуть: вот и хорошо, что эта «неповторимая личность» не повторится. Но увы, повторится ее лицевой угол и скифий зрак... Имение горе сердца и есть всматривание в путь восхождения к встрече с божественной и, значит, нисходящей тайной. Возлюбить тайну свою больше самого себя — значит понять свое расширение в ней, неизмеримо большей; целить высоко и, стало быть, далеко. Путь мировой жизни — в глубокой связи с выходом из уравнительности космического холода в автономные, разновеликие очаги горений, ибо жизнь и есть горение, пламя. Только труп входит в общее температурное царство с эмпирией. Первые ступени жизни (растения, амфибии, рыбы) еще вяло следуют температуре, в которую погружены; но позво-

жочные и птицы вырвались уже из этой уравнительной справедливости, утверждая свои огни — яко кадила пред Тобою — свечечки в мраке не жизни. Жизнь это неравенствование, различие в чине горения. Горе не горящим! Даже сперматозонды, с своим изумительным стремлением к цели — человек в любви только повторяет их — неравны, неся в себе не только неравную материю, но и разные заряды — потенциалы всей психики предков. Даже фагоциты неравны — эти мистические в нас государства в государстве и целеустремительные жизни; в крови, этом мире величественно-стройном, как Нотр Дам, разыгрываются неведомые или только смутно ощущаемые нами битвы; история человека и есть история его крови. Сами клетки наши, неся разные заряды электричества, без которого умирают (как атомы, выделившие энергию), утверждают человека (точнее треть его, состоящего на две трети из воды) в союзе неравенств; меняясь до семи раз целиком, до последней клетки, сам человек только семь последовательных неравных реальностей. В сущности он всего лишь воспоминание о самом себе и предчувствие себя... Идея человечности не может быть построена вне осознания миссии человека в человечестве, как пути к сверхчеловеку, вне религиозного ощущения сверх-разумного задания судьбы нашей. Автотелично - агрегатное псевдоматериалистическое (ибо клеветующее и на материю, таящую в себе потенцию скованного разума) лоно сознания — лишь обесмысливание, окретинивание мира, отставшее от знания; это идея-труп, борода, растущая на покойнике: по инерции. Мысль о мире — урне, хранящей смесь, прах, пепел и родила постулат равенства людей, который только непонятое христианство, с его идеей таланта и суда, карающего извращение жизни. Уравнительно-избирательная урна и есть, в сущности общий котел, в котором вываривается мозг на равных правах с мускулами в некий столярный клей, где вязнут идеалы. Идея органического долга творчества, кстати, несравнимо разрушительнее и для реставрационного декаданса, покушающегося контрабандно провести под иерархичностью социальный паразитизм. Именно она и диктует повелительную необходимость отбора творческих слов народных. В этом смысле в ней сливается библейский вопль с подлинно-революционным кличем.

КЛЮЧ СВОДА.

Кмеры не знали идеи свода; оттого пиары Ангкора так хрупки. Красота, постренная наложением, не связанная сжатием, оказалась неживучей. В маленьком чуде свода, где взаимодействие, а стало быть и взаимосжатие, создают как бы органическую, взаимоврастающую, монолитную связь («друг друга да обьемем»), а отсюда и противостояние нагрузке (крест жизни) — дана, в сущности, вся социальная идея. Только своды и переживают не только прах своих стен, но и народы их строившие (Колизей); величие руин, борющихся с вечностью, как Иаков с Богом, — в дерзании их на бессмертие. Но свод держится ключем в **вершине**, имея сердце свое горе, краугольным камнем распределителем трех сил (Бог, человек, вещь). Покушение на это сердце разваливает весь свод. Тут сразу целый сноп идей: и творчества, и распределения — справедливости, и непреложности кары... Вещий смысл библейской мысли о «камне краугольном, испытанном», (т. е. о «правде, поставленной весами»), «отвергнутом строителями, но становящимся главою угла», о пелене, застилающей глаза людей, так взволновал Христа, что он даже **заплакал**: «о, если б ты признал, хотя бы в этот день, который тебе остался, залого твоего мира, но они скрыты от твоих глаз... придут дни и не оставят камня на камне, потому что ты совсем не знал времени нашествия»... Неизбежность падения связана здесь именно с посягательством на высший замысел: ключ свода — принцип справедливости — некасаем и карающ, он — табу... И тут то «элита» тогдашняя и решила схватить и убить Христа, «но убоялась народа», «ибо поняла, что про них» (**захватчиков чужого творчества**) «он сказал эту притчу» (т. е. о виноградарях, убивших сына **насадившего**). И вот, «отнимется от вас Царство Божие и дано будет народу, приносящему плоды его». Связующее людей начало отлично от них; оно не четыре (бренно) — а треугольно (мистически — нерушимо); будучи обращено к земле только одной точкой, своими боковыми, вертикальными площадями, оно связует, но лишь верхней, горизонтальной, так сказать, небесной — противостоит падению, утверждая общество в веках. Пытаться перевернуть (справа или слева) этот камень углом вверх, можно только мысля вверх ногами; такая отмычка свода — только его взлом.

О ПРИРОДЕ ТОНИЧЕСКИХ ИЛЛЮЗИЙ.

Есть болезни, которые лечить опасно. Иные спасают от худшей; иногда — смерти. Подчас лучше не лечить пьяницу. А толстяка похудение вгонит в гроб. Бывает, приходится изобрести болезнь. Она охотно поступает на службу к здоровью. Так, сифилис парализуется малярией. Но самые процессы жизни нынче так мучительны, что нужны наркотики, чтоб притупить ее ноющую боль. Когда реагирование испепеляет, остается одеревянеть, притупить нерв жизни, не доводить до сознания рапорт о неладах с природой, подпоить этого угрюмого почтальона, чтоб он смотрел веселее. Спасительные яды, отравляя и делая достойными отравленной стихии, восстанавливают равновесие с извращенной жизнью, причащают к тайнам примирения со злом. Так, под наркозом новых иллюзий, мы переносим горечь таяния старых...

Разве даже эта голубизна моря не иллюзия, отражающая синеву неба? А синева неба не обман атмосферы? А настоящее, черное небо не иллюзия ли, закрывающая нам то, что глазу не дано преодолеть? Все иллюзии, поэтому и важно среди них избрать — тонические. Ведь из них и соткана вся наша жизнь. Мы алчные зрители этих светотеней и сами страстно создаем их. В нас эти отражения рождаются, живут и вянут. Ужасно хоронить их... Долго еще потом гниют в нас трупы грез. Ибо все они частицы нашего я, которое непрерывно, незримо умирает. Когда жестокий ветер реальностей сдувает миражи, разрывая паутину иллюзий, которую мы плетем, чтобы поймать в нее забвение, счастлив, заготовивший себе их впрок, чтоб не остаться одному лицом к лицу с потухшим экраном жизни. Но и в пустыне одиночества, зажмурив глаза, мы тщимся вспомнить сны; а завтра кидаемся в объятия новых видений. Снова блещут глаза и сверкают звезды — надолго ли?

Но если жизнь цепь иллюзий, в этом иллюзорном, как фильм, мире, то мудр ставящий себе наиболее прочные. Прятать голову под крылья иллюзий — однодневок, значит ежедневно разрушаться с рухнувшей мечтой. Обман возвышения и топчется именно за то, что оно не было достаточно честным, никло к земле, хватаясь за тлея, беря, но не давая. Но там,

где властное предвидение новой ступени, творческой цели —
ибо человек есть восходяще-раскрывающийся в ней — там,
на крыльях одухотворяющих иллюзий, мы претворяем об-
ман их в подлинное возвышение. Наша вера в Россию, кото-
рая «откроется», обезболивает тьмы низких истин, которые уже
открылись... Завтрашний праздник свидания двигает горами буд-
ней, навалившихся страшной, неуклонно тяжелеющей могильной
плитой...

Я. Меньшиков